Уоллес Шоун

**ЛИХОРАДКА**

Уоллес Шоун — современный американский актер и драматург. Автор пьес "Тетя Дан и Лемон", "Мари и Брюс", "Мой обед с Андре" (в соавторстве с Андре Грегори) и "Плакальщик". Наши зрители могли видеть его в заглавной роли в фильме Луи Маля "Дядя Ваня на 42 улице". Издание "Лихорадки" (1991) автор сопроводил следующим примечанием: "Этот монолог был написан в предположении, что его можно будет читать в домах и квартирах, перед десятью — двенадцатью слушателями.

"Чтецы могут быть самые разные — женщины, мужчины, постарше и помоложе".

Посвящается

Д. и У.

Джулио и Барбаре

Деборе и Бальтазару

Тому и Кристине.

Я путешествую... и внезапно просыпаюсь в предрассветной тишине, в незнакомом гостиничном номере, в бедной стране, где не знают моего языка, — и меня бьет дрожь. Почему? Что-то происходит... где-то... далеко, в другой стране. Да, вспоминаю. Казнь. В газете было написано, что — сегодня, именно в этот час.

У меня перехватывает горло. Вот они входят — идут — за человеком, лежащим на койке, — человек похож на кота, лицо у него такое широкое и такое черное, что надзиратели, открыв его камеру, снова пугаются, робеют. Ему бреют голову и часть ноги, чтобы электроды плотно прилегли к коже.

А теперь его вводят в другую камеру, пристегивают к креслу кожаными ремнями. Руки пристегивают к подлокотникам, чтобы они не дергались при свидетелях, ноги пристегивают к ножкам кресла... Наливается ли ужасом его сердце? Голову ему закрывают капюшоном, чтобы мы не увидели его боли, его страха, его искаженного лица. Лопающейся кожи! Мы видим только, как его тело слегка дернулось кверху.

Вам не кажется — когда вы путешествуете по чужой стране, — что запахи ее остры и тревожны? А когда вы просыпаетесь среди ночи — внезапно, — когда просыпаетесь в неурочный час, — когда путешествуете где-то и просыпаетесь в чужом месте, — вам не становится страшно?

Я не могу унять дрожь.

Лампа возле кровати не зажигается, электричества нет. Повстанцы взорвали мачты электролинии. В бедной стране, где не знают моего языка, идет маленькая война. В каждом гостиничном номере — свечи с маленькими подсвечниками. Я встаю, зажигаю свечу, иду со свечой в ванную. Там я ставлю свечу в подсвечнике на пол, становлюсь на колени перед унитазом, и меня рвет. Потом я сижу и дрожу на полу ванной, на холодном кафеле, жаркой ночью, в жаркой стране. Я не могу встать — и сижу тихо, трясусь, как будто сижу в снегу. А в углу — коричневое на кафеле — насекомое, большое, как водяной клоп, плоское, тяжелое, с твердыми, будто металлическими, ногами — и оно ждет, присев, решает, куда ему двигаться. Секунда — и оно заползло за раковину, лезет в дырку, которая тесна для него, — но пролезло — пролезло в нее, исчезло. И я вижу себя. Я вижу себя. Миг прозрения.

День рождения справляют в дорогом ресторане. Да — стол, красиво и мило украшенный, причудливая ваза посередине, зеленая с розовым, женщины с яркими губами, мужчины в красивых рубашках — и подарки, нелепые, неожиданные, смешные подарки, и официанты подают осетрину и разливают вина — и там я. Я тихо беседую с худенькой бледной женщиной в красно-синем платье о ее романе с немолодым мужчиной, о фильме, растревожившем ее, об актрисе, психиатре, преступниках, о ночных прогулках по лесу, о неутолимой жажде буйного секса, о страданиях отчаявшихся людей, которые живут в перенаселенном приюте через улицу от дорогого ресторана. И, разговаривая с этой женщиной в красно-синем платье, я думал, что я — человек, который думает об этом застолье, испытывает разные сложные чувства в связи с ним, которому в этой встрече что-то нравится, а что-то нет, и нравятся некоторые люди, но не все, нравится розовая с зеленым ваза и не очень нравится красно-синее платье. Но нет. Нет. Я вижу это ясно. Я вижу себя с маленькой вилочкой — я не был человеком, который думал о вечеринке. Я был человеком, который был на вечеринке, который сидел за столом, пил вино и ел рыбу.

Мы не говорили о рыбе, мы не говорили о ресторане, мы говорили о горных озерах на севере Таиланда и о перенаселенном приюте на другой стороне улицы. Но где мы были? Где мы были? Не на озерах, не в приюте... Мы были там, только там, за столом, в ресторане... Да, возможно, для некоторых людей... возможно, для некоторых людей, живших в начале двадцатого века, скрытой и бессознательной была их внутренняя жизнь. Возможно, единственным, что эти люди видели, был внешний мир — их окружение, их поступки, а о том, что происходит у них внутри, они не имели понятия. Но и от меня было кое-что скрыто. Что-то, часть меня, была от меня скрыта, и думаю, именно та часть, что лежит на поверхности, то, что мог разглядеть во мне любой человек, глядя из окна проезжающего поезда.

Ибо о том, что у меня внутри, я знаю немало. Я изучал свои чувства с девятилетнего возраста! Свои чувства! Свои мысли! Невероятной истории моих чувств и моих мыслей хватило бы на десяток переплетенных в кожу томов. Но история моей жизни — моего поведения, моих поступков — это тоненькая книжечка, и я ее никогда не читал. И не хотел никогда читать. Я всегда полагал, что она будет ужасно скучной. Что там будет? Глава первая. Мое детство. Я родился, я закричал. Глава вторая. Остальное: я сохранялся. Я встал, я пошел на работу, я пошел домой, я пошел спать. Я пошел в ресторан и ел рыбу. Кому интересно? Господи, неужели я должен уехать в бедную страну, где не печатают книг на моем языке, неужели я должен повалиться на кафельный пол в незнакомой гостинице для того, чтобы мне пришлось наконец раскрыть эту скучную книжку, историю моей жизни?

И меня снова рвет. Боже мой.

Нет, я не стану ее читать. Не буду. Родители любили меня. Они растили меня, чтобы я думал о людях, о мире, о человечности и красоте, а не о ресторанах и рыбе. Я родился для сознательной жизни. Свет лампы. Теплая комната. Мой отец в кресле, читает о Китае. Мать с газетой на диване. На столе в графине апельсиновый сок.

И они читают мне книгу о людях в форменных костюмах, о тех, что приходят к нам и помогают нашей семье: приходят со всех концов прекрасного города — посыльный из гастронома, почтальон с письмами. Такие хорошие. А на улице старушка из пекарни наклоняется и вынимает мне глазированную булку. Господи, я никогда не сомневался, что жизнь драгоценна. Я всегда думал, что жизнь надо праздновать .

Сегодня я сходил в учреждение, тихое учреждение — несколько шкафов и стульев, — а занималось оно тем, что регистрировало все случаи политических убийств, пыток, изнасилований — изнасилований, используемых для пытки или в ходе пытки. На стенах висели фотографии — окровавленные трупы друзей. Кровь была ярко-красная. На одной из фотографий — школьная учительница, убитая возле школы. И были черно-белые снимки застенчиво улыбавшихся женщин и мужчин, сделанные при жизни, — они были приколоты рядом с фотографиями их трупов. Лица светятся добротой.

И я подумал о том, как заботливо учили меня родители не писать мимо унитаза, не пачкать сидений в туалете, избегать гриппозных и простуженных, избегать сквозняков, избегать холодных промозглых комнат.

Я подумал о том, как они научили меня любить путешествия — прекрасные поездки на поезде. Чудо ночной езды среди полей, в маленьком купе; чистим зубы в движущемся поезде.

А тут, с пола ванной, я вижу за окном при лунном свете роскошные горы бедной страны, пропитанные кровью невинных, кровью этих застенчивых лиц, разбитых смиренных лиц.

Гуляем по саду с мамой — громадные розы. И по темному сосновому лесу — отец показывает мне желтую птицу. Спаси меня.

Понимаете, я люблю Бетховена. Люблю слышать, как смычок налетит на струну. Люблю следить за скрипичной фразой, протяжной, как долгий оргазм, истекающий бечевой звука. Люблю выйти вечером в космополитический город и сидеть в темном зале, глядя на танцовщиков, впархивающих друг другу в объятья.

А допустим, что некоторых людей — людей, чьи сердца несомненно полны любви, — вдруг будят среди ночи отряды вооруженных мужчин. Допустим, это их бросают в вонючий фургон с ковриком и топчут сапогами, покуда их окровавленные губы не распухают до размера апельсинов. Да, я был жив, когда это творилось, я жил в городке, чьи улицы залиты кровью безвинных жертв, я носил одежду, которую сдирали с них, когда их насиловали и убивали.

Но я люблю скрипку. Я люблю музыку, танцоров, люблю все, что вижу и к чему прикасаюсь. Город с его огнями, театры, кафе, газетные киоски, книги. Вечный праздник. Жизнь надо праздновать. Жизнь — это дар.

И не выношу, когда люди говорят: "В детстве я любил слонов", "В детстве я любил воздушные шарики". Означает ли это, что, если сегодня они остановятся и посмотрят на воздушный шарик или на слона, они не будут любить их? Почему не будут? Я думаю, мы продолжаем любить то, что всегда любили. Как же иначе? И что еще я всегда любил — а вы? — как замечательно упаковывали, заворачивали маленькие ценные вещички — подарки, которые преподносили друг другу на Рождество или в день рождения взрослые. Какую-нибудь, скажем, фарфоровую чашечку или блюдце, или маленькую фарфоровую вазу. Сначала там будет коричневая картонная коробка из магазина, такой величины, как будто там будет деревянная лошадка или трехколесный велосипед, — большая коробка, но, когда поднимаешь ее, она оказывается невероятно, волшебно легкой — и ты представляешь себе, что эту большую коричневую коробку запечатывал могучий, мускулистый индустриальный рабочий, совсем не интересовавшийся ее содержимым. А потом кто-то взрез б л ножом коричневую липкую ленту на крышке, и, когда эту ленту растаскивали, раздавался могучий индустриальный треск. И внутри этой большой картонной коробки ты находил другую коробочку, завернутую в толстую глянцевую бумагу и перевязанную яркой толстой шелковистой лентой, в которой не было вовсе никакой нужды, и ты сразу представлял себе, что эту внутреннюю коробочку упаковывала деликатная и скромная дама, с мягкими от душистого крема руками, — и она с большой бережностью относилась к тому, что было в коробочке. А потом, когда снимали и ленту, и бумагу и открывалась сама коробочка, чистая, молочно-белая, кто-то снимал с нее крышку, и ты слышал легкий, шелестящий звук — будто птенец завозился в гнезде или хомячок в клетке, — то вздыхали тихонько крохотные кусочки жатой бумаги, слегка расправляясь после того, как убрали крышку. И тут начиналась самая волнующая часть, выяснение, что именно есть в коробке, кроме клочков жатой бумаги, — и есть ли вообще что-нибудь, потому что первой твоей мыслью было: ну, на этот раз тут действительно ничего нет. Тут кто-то, — может быть, ты сам — запускал руку в коробочку и шарил в бумаге, словно ныряльщик, отыскивающий жемчужину, — и наконец она натыкалась на что-то твердое, туго завернутое в бумагу другого сорта, и, когда снимали эту последнюю обертку, глазам являлась чашка или блюдце, или крохотная вазочка, способная вместить лишь один цветок. Если бы вы увидели эту чашку или блюдце, или вазочку где-нибудь на полке в магазине, вы бы подумали, что в ней нет ничего особенного, или если бы вы увидели ее в куче подобных вещей где-нибудь в темной пыльной лавке, торгующей всяким хламом, вы бы не выделили ее из мусора, но, когда ее вытащат из большой картонной коробки, а потом из бумаги в молочной коробочке, она покажется вам самой ослепительной вещью на свете. И какой же нежной, какой хрупкой и драгоценной. И вы будете правы — так оно и есть.

И мои друзья, и я были хрупкими, нежными, драгоценными детьми и всегда это знали. Знали по тому, как нас укутывали — в мягкое белье, которое нам клали на постель, в мягкие носки, чтобы не натерли ноги.

И я помню, как моя милая красивая мама, моя невинная мама, говорила мне и моим друзьям, когда нам было лет девять или десять: "Будьте осторожны, детки, не ходите к Первой авеню. Это плохой район. Там хулиганы".

А мы и не подозревали, что это значит. И она не подозревала. Мы думали, что есть такие ребята — хулиганы — может быть, им нравится быть такими. И они живут в определенных районах — может быть, потому, что там живут их друзья. Милые люди собрались в нашем районе и живут вместе, и это хороший район. А Первая авеню и другие авеню — плохие районы, там собрались нехорошие люди, и этих районов надо избегать.

Мы и сейчас их избегаем — все мои друзья и я. Плохих районов. Люди, живущие там, обидят тебя, побьют тебя, порежут, убьют. Все, кто готов обидеть тебя, собираются в таких районах, как вода в стоках. И это ужасно. Это жутко. Зачем людям причинять друг другу вред? Я всегда говорю друзьям: мы должны радоваться тому, что живы. Мы должны праздновать жизнь. Мы должны понимать, что жизнь прекрасна.

И не должны ли мы украшать наши жизни и наш мир так, как если бы это была постоянная вечеринка? Не должны ли висеть бумажные колокольчики на потолке и бумажные шары, белые и желтые ленты? Не должны ли люди танцевать и обнимать друг друга? Не должны ли ломиться столы от сладостей и подарков?

Да, но мы не можем устраивать праздники в той же самой комнате, где людей пытают, где людей убивают. Мы должны знать, где мы, а где те, кого пытают и убивают. Не в той же самой комнате? Конечно... но разве нельзя воспользоваться какой-нибудь другой комнатой? Можно, но там мы все равно услышим их крики. Ну а тогда — может быть, здание на другой стороне улицы? Ну, можно — но не возникнет ли странное чувство, если во время нашего праздника мы подойдем к окну, посмотрим на здание напротив, где мы сейчас находимся, и подумаем о том, что сейчас здесь льют кровь, убивают людей и разбивают мошонки.

Кто они — те, кого пытают и убивают? Мне объяснили: последователи Маркса.

Кружится голова, и я опускаю лоб на пол. Виски мне будто перевязали веревкой и то натягивают, то отпускают, натягивают и отпускают, а в животе — режущая боль.

У себя на родине я всегда любил жить в гостиницах. Одним из высших удовольствий для меня было — уснуть в гостинице, в каком-нибудь новом городе, проснуться пораньше, когда поют птицы, заказать в номер кофейник, а потом снова лечь в постель и, попивая кофе, звонить друзьям. Я проводил так часы — говорил по телефону, смеялся, пил и пил кофе и смотрел, как солнце заглядывает в окно и движется по комнате. Потом вставал и приступал к дневным делам. Но гостиница в чужой стране — это совсем другое.

Расскажу вам о забавном происшествии, случившемся сегодня за обедом. Впрочем, скорее моя реакция на него была забавной.

В отеле давали банкет. Перед всеми — громадные тарелки с едой: ветчина, креветки, омар, дичь. Я стоял снаружи, а на ступеньках неподалеку от меня сидела девушка лет шестнадцати. Это была крестьянская девушка, босая, ноги ее выглядывали из-под выцветшей юбки. Глаза у нее были влажны, словно ее высекли. Она чего-то ждала, застыв на каменных ступеньках в позе, исполненной удивительной серьезности и грации. Внезапно из отеля вышел хорошо одетый молодой человек с глупым выражением лица. Он направился к девушке, и по тому, как он махнул ей, я понял, что она служанка в его семье. Он нес ей крохотную тарелочку с несколькими фасолинами. Это был ее обед. Она улыбнулась, принимая этот дар, и у меня немедленно возникло желание ударить молодого человека в лицо, зашвырнуть его в кусты. Реакция, в самом деле, забавная. Кем я себя вообразил — революционным партизаном на неделю? Потом он вернулся в гостиницу, естественно не заметив меня, и на этом все кончилось. Примерно год назад я провел день на нудистском пляже с группой людей, которых я не очень хорошо знал. Среди прочих, голый, на солнце, лежал человек, все время рассуждавший о "правящем классе", "элите", "богатых". Целый день: "Богатые — свиньи, все до одного свиньи, однажды эти свиньи получат то, что им причитается", — и все в таком духе. Это был мужчина с большими усами, худой, нездорового вида, но очень красивый, и он беспрерывно курил. Рассуждения его перемежались смехом — сердитым лаем, возникавшим всегда неожиданно. Всю свою жизнь я слышал о таких словах и таких фразах, но ни разу не встречал человека, который ими действительно пользовался. Мне показалось это довольно занятным. Но примерно через месяц после этого произошло нечто странное. Куда бы я ни пошел и с кем бы ни вступил в разговор — в поезде, в автобусе, на вечеринках, в очереди в кинотеатр, — все говорили, как он: богатые свиньи, пробьет их час, они все, как один, свиньи — и так далее. Я подумал было, что схожу с ума. Мне показалось, что я рехнулся. Это в самом деле происходит? Все стали коммунистами, кроме меня?

И происходило это как раз тогда, когда коммунизм окончательно умер и социальные патологоанатомы спорили, чем вызвана его смерть. Судя по газетам и журналам, никто не печалился о почившей системе, и казалось, все интеллигенты и политические деятели, когда-либо подпадавшие под ее обаяние, разбегались кто куда в поисках убежища. Так кто же тогда эти люди, которые в меня вцепляются?

Однажды у себя на крыльце я нашел подарок от неизвестного — том первый "Капитала" Карла Маркса, в коричневом бумажном пакете. Шутка? Всерьез? И кто мог прислать эту книгу? Я так и не выяснил. Поздно ночью, голый, в постели, я ее полистал. Начало было непостижимо — я не мог его понять, но, дойдя до той части, где говорилось о жизни рабочих-шахтеров, рабочих-детей, я почувствовал, что вдруг задышал медленнее. Как же он сердился! Страница за страницей. Потом я вернулся к более ранней части и набрел на фразу, когда-то слышанную, — странную, тревожащую, довольно уродливую фразу: речь шла о "товарном фетишизме". Я хотел понять это дикое словосочетание, но пришел к выводу, что понять его, наверно, можно будет, только переменив всю свою жизнь.

Объяснение его было очень невнятным. Например, люди говорят: "Двадцать ярдов полотна стоят два фунта". О каждой вещи люди говорят, что она имеет определенную стоимость. Это стоит столько-то. Это пальто, этот свитер, эта чашка кофе — каждая вещь стоит определенных денег или некоторого числа других вещей: одно пальто стоит трех свитеров или таких-то денег — словно пальто, вдруг появившись на земле, содержит в себе какую-то стоимость, вроде души, словно пальто — фетиш, физический объект, в котором содержится живой дух. Но что на самом деле определяет стоимость пальто? Что определяет цену пальто? Цена пальто возникает из его истории, из истории всех людей, которые занимались его изготовлением и продажей, и из всех отношений между ними. И если мы покупаем пальто, мы тоже вступаем в отношения со всеми этими людьми, но игнорируем их, делая вид, что живем в мире, где у пальто нет истории, а оно просто свалилось с неба с готовой ценой внутри. "Мне нравится это пальто, — говорим мы, — оно недорогое", — словно это свойство пальто, а не завершение истории обо всех людях, которые его делали и продавали. "Мне нравятся картинки в этом журнале". Голая женщина прислонилась к забору. Мужчина покупает журнал и глядит на картинку. Мужчина заплатил женщине, чтобы она разделась и прислонилась к забору. Фотография содержит свою историю — минуту, когда женщина расстегивала блузку, то, что она при этом чувствовала, что ей сказал фотограф. Цена журнала — шифр, который описывает отношения между всеми этими людьми: женщиной, мужчиной, издателем, фотографом — кто командовал, кто подчинялся. Чашка кофе содержит историю крестьян, собиравших плоды, — некоторые теряли сознание под палящим солнцем, некоторых били, некоторых пинали.

Два дня я видел товарный фетишизм повсюду вокруг меня. Это было странное чувство. На третий день я утерял его. Оно исчезло. Я больше не видел фетишизма.

А вскоре после занятий с этой книгой я как-то ждал автобуса. И некто с очень приятной улыбкой стоял позади меня; его худая грудь была прикрыта вылинявшей майкой, и на майке было напечатано одно слово — название одной революционной страны. Автобус запаздывал, минуты шли, и в конце концов я улыбнулся в ответ на улыбку стоявшего позади меня и спросил у него: "Вы были в этой стране, которая у вас на майке?" И носитель сказал: "Да — а вы там тоже были?" — и лицо его при этом потеплело. Потом подъехал автобус, и неизвестный вошел, но это был не мой автобус. Примерно через полгода я был на вечеринке в благополучном районе города и много выпил. Ночь была темная. Улицы — мокрые. Я быстро шел мимо каких-то синих деревьев и вдруг увидел освещенное место; человек с ореховым лицом и седыми волосами, в темном костюме ловил такси. Он тоже был на вечеринке, но мы не разговаривали. Он спросил, не в одну ли нам сторону, оказалось — в одну. Он говорил с музыкальным акцентом. Мы сели в такси. Руки у него странно дрожали, а в тембре голоса было что-то от густого темного сиропа. Изъяснялся он краткими ироничными фразами, и немного погодя я смущенно спросил: "Не могу понять, что у вас за акцент, — вы откуда?" Он посмотрел на меня хмуро и с подчеркнутой иронией объяснил, что прибыл из революционной страны, чье название я видел тогда на майке. Он служил там по дипломатической части. "А в вашу страну трудно попасть?" — спросил я. Он любезно ответил, что очутиться там можно через несколько часов.

Сколько-то месяцев спустя я отправился в эту революционную страну. То, что я слышал о ней, оказалось выдумками. Солдат и вправду было много, но мне они казались похожими на пастухов с ренессансных картин. Их зеленые мундиры напоминали пижамы. Я весьма приободрился. Я беседовал с чиновниками, приходившими на службу с рассветом, — все были усталые, но очень вежливые, покладистые, с чувством юмора — некоторые были даже душевными, некоторые грустными. Однажды я остановился на площади и написал в записной книжке романтическую фразу: "Эти застенчивые улыбки для меня — как сад". Жил я в дорогом, роскошном отеле, и мороженое там действовало на меня, как наркотик, — восхитительное, легкое, ароматное. Я не мог оторваться от этого поразительного мороженого. Журналист, с которым я познакомился в гостинице, объяснил мне, что восторгаться революцией из-за мороженого — наивно , потому что это именно изъян в революции: ресурсы отвлекаются на изготовление мороженого, тогда как некоторым людям все еще не хватает еды. Замечание по существу, но он упустил одно: мороженое было сказочное.

Я продолжил мою поездку и решил посетить другие бедные страны. Я ездил по бедным странам, чьих названий не было на майках, чьи солдаты имели странное выражение на лицах; богатые семьи там сидели в сияющих ресторанах, поедая тарелку за тарелкой многоцветного мороженого, но когда я попробовал эти мороженые, вкус у всех был один и тот же и ни одно не было восхитительным. Я ослаб, выслушивая рассказы об электрических пытках, о состоянии тел. Я видел фруктовые сады несравненной красоты, где работниц насиловали и вешали на деревьях. Но однажды в ясное солнечное воскресенье я зашел в крошечную церковь, заполненную худыми лицами, и там раздавалось радостное пение и священник говорил о любящем Христе, о важности прощения — о терпимости, милосердии. А однажды днем в темном кафе я пил чай с вооруженной партизанкой . С Хуаной, последовательницей Маркса. Это было немного страшно. Кожа у нее была желтоватая, глаза чересчур блестели. Казалось, ее сжигает мучительная болезнь. Ну, не совсем последовательница Маркса. Но имя его казалось ей чудесным, и даже его портрет казался красивым, потому что, в отличие от других философов и образованных людей, объяснила она мне, Маркс сделал странный жест — бросил свою жизнь к ногам бедняков. Иначе говоря, Маркс был их последователем. Он был на их стороне.

Я все пытался узнать что-нибудь о ней самой. Она уже давно не была дома. Она любила родителей. У нее было двое маленьких детей. Муж умер в двадцать с чем-то лет. Она воспаленно рассказывала мне о сестре, которую убили, и все время стискивала и разжимала руки. Голову ее сестры изуродовали. После смерти сестры она покинула деревню и пошла в горы, искать повстанцев. Она научилась по нескольку дней обходиться без еды. Самообладание, достоинство дикого животного.

Я вернулся домой, к прежней размеренной жизни. Но не мог не заметить, что со мной происходит нечто ужасное. Сперва я отмахивался от этого, старался не обращать внимания, как на неприятный симптом, — в надежде, что он исчезнет сам по себе, — но это не исчезло. Что же творилось со мной? Я всегда говорил: "Я счастливый человек. Я люблю жизнь", — а теперь какое-то страшное безразличие или пустота, зародившиеся где-то внутри, завладевали мной мало-помалу. То, что раньше обрадовало бы меня или развеселило, теперь не рождало отклика. Иногда казалось, что кто-то меня душит.

Я навестил знакомую семью — близких друзей. Прежде я не бывал у них дома, хотя разговоры о таком визите у нас шли годами. "Это наша спальня, — открывают дверь. — Здесь спит ребенок". Все комнаты были красивые — простота и вкус, какая-нибудь выразительная деталь, изящные вещички из дальних стран. В детских комнатах — небесно-голубые обои, даже на потолке, полки с большими желтыми цыплятами и утятами. Но мне было нехорошо. Мне было тошно. Я ничего не чувствовал — я коченел.

Я отправился на спектакль с компанией приятелей — легендарная актриса в замечательной роли. Крах героини приближался с каждой минутой. Дом ее детства продадут, ее любимые вишни будут срублены. Под яркими огнями актриса играла гнев, браваду, и сцену оглашал ее молодой смех, говоривший о самообмане. Ей придется жить в парижской квартире, а не в поместье, которым она владела прежде. Поместье купит ее бывший крепостной. Сочувствие и горе ее старого брата в конце концов вызвали слезы у крупного мужчины в плотном пиджаке, сидевшего рядом со мной. Но неприятность заключалась в том, что я почему-то неожиданно перестал быть собой. Меня это не трогало. Почему именно нам полагалось плакать? Она лишится своих владений... Теперь ей придется жить в квартире... Я не мог вспомнить, почему мне полагается плакать.

Возвращаясь со спектакля в такси, мои друзья критически отзывались об одном из актеров. Его исполнение было вялым, неубедительным, непродуманным. Если его герой вел себя таким образом в первом акте, то его последующие поступки нельзя объяснить. Я, застыв, глядел в окно автомобиля.

Иногда мне бывало хорошо. Помню одно утро — чудесное голубое небо, — я стригся. Ласковые руки укладывали волосы у меня на голове пышной шапкой. Потом я купил себе пару удобных носков, а потом, разглядев их внимательнее, купил еще две пары, потому что найти носки, которые меня устраивают, не так-то легко! Потом я пошел в симпатичный ресторанчик и пообедал с женщиной в лимонно-желтом костюме, которую знал с восьми лет. Но когда я сел в такси и поехал по городу, противное, муторное чувство вновь овладело мной. Оно зарождалось где-то в животе и разливалось по груди и по ногам. А желудок пульсировал совсем как сердце. На лбу и шее холодный пот. Я перестал быть собой. Когда такси остановилось, тот, кто вылез из него, не был мной. Меня не было нигде. Тот, кто расплачивался с шофером, на самом деле был никто.

Меня дожидалась женщина, с которой много лет назад у нас был очень счастливый роман. Мы улыбнулись, мы обнялись, но обняла она не меня. Я держал в объятиях будто не человека, а куклу с электрическим подогревом. И сам я был странно пахнущей куклой. В старой квартире, полной воспоминаний, мы говорили о недавнем спектакле, о фильме, о кошмарном выступлении танцевальной группы, где работала наша общая знакомая; мне было рассказано об обеде с нашей подругой Надей, художницей, которая помимо живописи занялась дизайном, и о деревянных фигурках, контрабандой вывезенных из Мексики, для чего их пришлось завернуть в белье. У нашего остроумного друга Петруса украли бумажник. Как ни удивительно, полицейские поймали вора, убегавшего по улице. Петрус сказал, что досье на него длиннее биографии Генри Джеймса. Приключения Петруса в полиции и в суде были уморительны — Петрус есть Петрус. Но, слушая этот рассказ, я вспомнил, как подруга моей матери однажды сказала мне: "Люблю тебя за твой милый, громкий, веселый смех", — и отметил, что сейчас мой смех похож на сдавленное покашливание.

Мы собирались пообедать с другим нашим приятелем в гостинице возле учреждения, где он работал, но, встретившись с ним, по ошибке забрели в танцевальный зал гостиницы. Там зажиточного вида чиновники, возможно уже удалившиеся на покой, танцевали под жуткую музыку со своими женами — мужчины с широкими бедрами, в мешковатых брюках, с монетами в карманах и жены в цветастых платьях, с прическами, похожими на парики, — и наш приятель сказал: "Господи, какие несчастные. На них больно смотреть. Как печально жить", — а я смотрел на чиновников в темных костюмах, не ощущая ничего, кроме оцепенелого безразличия, стянувшего даже рот, — какого-то кислого безлюбья, ужасного, гнилого безлюбья.

А под конец обеда приятель сказал нам, что его отец умер. Он описал больницу, врачей, машины. Похоже, ему казалось, что до этого никто не умирал, казалось несправедливостью, что должен был умереть его отец. Он не пожалел никаких средств, чтобы по возможности продлить жизнь отца и облегчить ему смерть насколько возможно. Отца окружали специалисты и трудились изо всех сил, чтобы избавить его от страданий. А я, не удержавшись, заговорил о тех, кто каждый день умирает под пытками, окруженный на смертном одре другими специалистами, которые делают все возможное, чтобы их пациент умер в немыслимых муках, воя от боли.

Слова мои были неуместны. Где же мое сочувствие к другу? Его потеря была подлинной. Он смотрел на меня с ужасом.

Наступило Рождество. На улицах и в магазинах царило праздничное настроение, и однажды ночью я увидел сон: мне снилось, что сейчас Рождество и у меня чудесная семья, двое или трое маленьких детей, и в этом сне я вдруг проснулся, потный от страха, и пошел в ванную чистить зубы. Моя щетка, паста и стакан стояли, как обычно, на полке. Я взглянул в зеркало, и эта полка с принадлежностями стала крениться. Стакан медленно сполз с нее, упал и разбился на толстые острые осколки. Я потерял равновесие, поскользнулся и наступил прямо на осколок. Кафельный пол залила кровь. Прибежала семья. Я плакал, всхлипывал. "Простите, — сказал я, — я больше не смогу дарить вам подарки. Я всех вас люблю, но больше не хочу дарить вам подарки". Слова эти вырвались у меня сами собой. Я не понимал, почему я их говорю. Я всегда хотел, чтобы мои дети были счастливы. Я всегда хотел, чтобы они получали все самое лучшее. Потом я проснулся и стал думать о сновидении, о подарках. Я думал о Рождестве, об улицах, магазинах. Для этого ли люди рожают детей — чтобы тоже рыскать по улицам, поглощая, покупая только "самое лучшее" — лучшую пищу, лучшие наряды, все лучшее, — тоже для того, чтобы требовать "самого лучшего"? Разве еще не хватает людей на свете, которые требуют самого лучшего, добиваются самого лучшего? Нет, мы должны родить новых, а потом собрать еще больше сокровищ, еще больше самого лучшего для наших новых детей, потому что наши дети должны иметь самое лучшее, и будет позором для нас, если мы их этим не обеспечим. Мы ни перед чем не остановимся, чтобы дать им самое лучшее. Я был в очень плохом состоянии. И не то чтобы мне так понравилась моя последняя поездка. Но я чувствовал, что, может быть, должен съездить туда еще раз — съездить в бедные страны, — что, может быть, так я излечусь от своей тошноты или беспокойства — или как там назвать это чувство. У меня даже не был распакован один чемодан. И я решил: ну... может быть... И вот я здесь.

Последнюю ночь на родине я провел в гостинице аэропорта. В номере надо мной допоздна играла музыка. Я позвонил портье и пожаловался. Лежа в постели, я представлял себе, как слушают музыку люди наверху. На них удобная одежда для досуга, они свободны и веселы — может быть, немного выпили или накурились. Может быть, танцуют. Я всегда любил песню, которую играли наверху, — красивая песня, и сейчас испытывал острое удовольствие: лежа на подушке и слушая песню, ждал минуты, когда гостиничный охранник постучит в дверь наверху и музыка оборвется на середине фразы.

Я пытаюсь встать и выйти из ванной. Поднимаюсь на колени, но встать не могу. На бортике ванны висит пурпурный коврик. Я хватаюсь за него, стягиваю его на пол, подтягиваю и просовываю под себя.

Вы знаете? — в городе, где я вырос, в городе, который и люблю больше всех, бывают ночи, когда для дождя слишком холодно, но небо еще не может разродиться снегом, хотя чувствуется, что оно не прочь, — и тогда в какую-то минуту каждая машина, и лицо, и стеклянная витрина вдруг покрываются тончайшей влагой, вроде той, что видишь на замороженной вишне, — и в такую ночь, когда идешь по улицам чистой части города, ты видишь мужчин в длинных, до земли, пальто, и с плотоядно раскрытыми ртами они грубо смотрят на рыжеволосых женщин, чья помада и серьги идут рябью в перемежающемся свете и полутьме тротуара. И вот этого никогда не поймут коммунисты, этого коммунисты никогда не поймут, так же, как я никогда не пойму человеческой порядочности.

Слушайте, вот что я хочу у вас спросить: у вас когда-нибудь были друзья из бедных? Понимаете, по-моему, у многих людей есть такая мысль: а почему бы мне не завести друзей среди тех, кто беден?

Я рисовал себе это столько раз — это было как навязчивый сон. Каждый день я видел множество людей — людей, занятых физическим трудом, — кто-то случайно привлекал мое внимание, кто-то со мной говорил, и я думал: как славно... славно... Если бы... — и я воображал себе... Но все, что я воображаю, каждый раз кончается плохо.

Я всегда воображаю, как они приглашают меня на обед, — и не знаю, в чем дело, — что-то есть в свете лампочек, в паркетинах, чуть выступающих над полом, и ты входишь и говоришь себе: чудесно, все чудесно, просто чудесно, — но знаешь, что это не так, — и откуда-то доносится какой-то липкий запах, из передней, из комнаты, и тут же телевизор, и стены окрашены глянцевой розовой краской, и больные детишки чихают и кашляют. И стулья жесткие, и, в конце концов, ты садишься на пол и ерзаешь по полу, пытаясь найти опору для спины. И тебя кормят, и мясо жирное, и кусок мяса у тебя на тарелке как будто становится все больше и больше. И все невероятно милы . И кто-то меняет у младенца пеленку. А через неделю тебе звонят и приглашают снова, и ты не знаешь, что сказать, поэтому снова идешь, а потом, может быть, еще раз, спустя несколько месяцев, а потом... не знаю... то ли ты переезжаешь в другую часть города, то ли совсем уезжаешь из города, а может, они из города уезжают, — но в следующий раз ты попадаешь к ним через год, а потом уже никогда не попадаешь.

Господи Боже, что со мной творится? Кажется, от меня ничего не осталось. Кажется, я не могу думать... я ничего не помню... Как это я всегда говорю? Я убежден, что есть... Я убежден, что...

Нет — стоп. Каждый человек — это человек, каждый человек в чем-то убежден. Мой друг Боб — мой друг Боб убежден, что "демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных". А Фред — Фред убежден, что "сегодняшний бунтарь есть завтрашний диктатор". А Наташа убеждена, что крестьяне в бедных странах хотят только, чтобы их оставили в покое и позволили возделывать свои поля, и что им никакого дела нет до правых и левых идеологий. Марио убежден, что социальная критика в пьесах и фильмах действеннее всего тогда, когда она выражена через юмор. А Индрани убеждена, что произведения искусства, включая оперу и балет, способны изменить личность, а через это — общество. А Тошико убеждена, что единственное, чем может способствовать человек решению мировых проблем, — это внушить своей семье правильные понятия. Анна-Мария же верит, что богатые и бедные должны жить как друзья и трудиться сообща, чтобы будущее стало лучше прошлого.

Но вопрос... вопрос вот в чем: изменилось бы что-нибудь, если бы не Боб, а Фред полагал, что демократия — наихудшая форма правления, за исключением всех остальных? Что, если бы Фред проснулся однажды утром и подумал, что он верит в это, и забыл, что на самом деле в этом убежден его друг Боб?

Фред в чем-то убежден — это ясно. Но что это значит? И значит ли что-нибудь? Я не помню...

А мои убеждения? Да-да, у меня есть убеждения, да, я верю в человечность, в сочувствие к другим, я отвергаю жестокость и насилие...

Что? Ты одобряешь жестокость и насилие?

Нет — я сказал, я отвергаю жестокость и насилие... Господи, — отвергаю, отвергаю...

Но я еще помню, чт у я люблю, — помню ведь? — даже если не помню своих убеждений. Я знаю, чт у я люблю. Я люблю тепло, уют, удовольствия, любовь... письма, подарки... красивые тарелки... картины Матисса... Да, я эстет. Я люблю красоту.

Да — бедные страны красивы. Бедные люди красивы. Как прекрасно — быть при деньгах в стране, где большинство народа бедно, ехать в такси по жутким трущобам.

Да — нищая может быть красива. У нищей могут быть красивые губы, красивые глаза. Ты далеко от дома. Ее простая шаль кажется тебе элегантной и уместной — так и надо одеваться. Она приближается к тебе издалёка. Она старая, худая, да и вид у нее больной, очень больной, смертельно. Но лицо ее кажется прекрасным, соблазнительным — оно светится. Она нравится тебе — тебя к ней влечет. Да, думаешь ты, — у тебя в кошельке деньги, ты дашь ей денег.

И голос спрашивает: почему не все? почему не отдашь ей всё, что есть?

Осторожно, такой вопрос может отравить тебе жизнь. Твоя любовь к красоте может тебя просто убить.

Если ты слышишь этот вопрос, значит, ты болен. Ты душевно болен. У тебя нервный кризис.

А ванная кружится, вертится с невыносимой быстротой. Я смотрю на унитаз.

Ответь на вопрос, идиот. Не стой как столб. Я не могу отдать нищей все деньги, потому что я...

потому что я...

по...

Одну минуту. Одну минуту. У меня есть убеждения. И есть причина, почему я не могу отдать нищей все мои деньги. Да, я дам ей часть — я всегда даю с удивительной щедростью людям, имеющим меньше, чем я... Но, во-первых, вполне объяснимо, почему деньги есть у меня, и именно поэтому я не собираюсь отдавать всё. Другими словами, я эти деньги, черт возьми, заработал. Я много работал. Я работал. Я работал. Я много работал, чтобы заработать эти деньги, и эти деньги — мои, потому что я их заработал. Я заработал деньги, и поэтому они у меня есть, и я могу тратить их, как мне угодно. Это — основа всей нашей жизни. Почему я могу жить в этом отеле? Потому что я заплатил за жилье — своими деньгами. Заплатил, чтобы здесь жить, и это дает мне определенные права. Я имею право здесь жить, и чтобы меня обслуживали и делали для меня то, что положено. Вот, например, сегодня утром горничная оставила мой номер в беспорядке. Пол был грязный, свежего белья не постелили, корзину для мусора не вынесли. А я платил за жилье, платил за то, чтобы меня обслуживали, имею на это право, но горничная не обслужила меня как полагается. И это неправильно.

Снова накатывает приступ рвоты. Мои плечи тянутся к унитазу и тянут за собой меня. Моя голова тянется к фаянсу, и меня рвет, и рвет, и снова рвет.

Почему эта старуха больна и умирает? Почему у нее нет денег? Или она никогда не работала?

Идиот, жалкий идиот, конечно, она работала. Она работала по шестнадцать часов в поле, на фабрике. Она работала, горничная работала. Ты говоришь, ты работал. Но почему твоя работа приносит тебе так много денег, а их работа не дает им практически ничего? Ты говоришь, "заработал" деньги. Чудесное выражение. Но как же ты "заработал" так много и в такое короткое время, а они за то же время "заработали" так мало?

Жар пробегает по мне маленькими волнами, пурпур коврика все густеет и густеет, громадные, толстые водяные клопы покрывают пол и бегут, быстро. Сотни — и бегут, построившись некими фигурами. Я встаю, чтобы они не пробежали по мне, и высокий революционный охранник в нижней рубашке поднимает ногу. Он поднимает ногу. А потом разворачивается и бьет меня ногой в лицо, и я падаю назад, спиной на нары, на жесткие нары. Я в камере, а охранник лезет в большую сумку и вытаскивает тоненькую книжонку, вроде бы знакомую. Он швыряет ее мне и выходит из камеры. "Прочти ее, — говорит он. — Прочти. Прочти ее".

Я подбегаю к двери камеры и кричу: "Это вы называете народной властью?" — но он уже ушел. Я кричу и кричу, у меня саднит в горле. Но я здесь один, и со мной только эта уродливая книжонка. Я сажусь на нары и начинаю читать; на ладонях у меня выступает пот.

Ну конечно, именно то, что я и ожидал увидеть. Самые нудные вопросы — с подробными ответами, как будто жизнь человека — это таможенная декларация. Глава первая: в какой стране я вырос, в каком городе, на какой улице? Расовая принадлежность моих родителей. Сколько они зарабатывали. Чем я питался. Чему меня учили. Глава вторая... — это невероятно, черным по белому: "Моет голову каждый день, если не опаздывает" — закрыть кавычки. Открыть кавычки: "Собираясь обедать с друзьями или в театр, принимает ванну и переодевается в чистое". Да что же это такое творится? Ведь это не имеет совершенно никакого отношения к тому, что есть Я, к тому, что во мне существенно! Неужели они не понимают, что все в этой книге с таким же успехом может относиться к... к... к моему соседу Джину, к соседу Джину, который острит о голодающих детях в Азии, к соседу Джину, который хвастается тем, что употребляет сотрудниц на столе совещаний? Неужели они этого не понимают?

Один из охранников заламывает мне руки за спину, а другой начинает бить по лицу кулаками. Несколько раз бьет по лицу, потом в грудь, потом в живот. Никогда в жизни меня не били. Я думаю о том, какое повреждение мне может причинить каждый удар. А изо рта у меня потихоньку течет кровь.

И еще один охранник — женщина, чье лицо похоже на лепешку, вымоченную в ярости. Она стоит в стороне, а крики мои мечутся между стенами камеры: "Нет! Нет!" А потом она подходит ко мне и плюет мне в лицо. Я кричу ей: "Чем я это заслужил? Что я вам сделал?"

Когда охранники уходят, я вою, как животное. Я не перестаю думать о матери — о том, как она обо мне заботилась, — и это непереносимо.

Стараюсь взять себя в руки. Я должен выжить. И вот я сажусь на нары и плачу и читаю, и плачу и читаю. А время идет, столько времени, — кажется, проходит вечность, — а потом, да-да, я понимаю — я сознаю, что на мой вопрос есть ответ. Да, все это можно было предсказать, зная предысторию — где я родился, как меня вырастили... сколько может стоить час моего труда, — хотя для меня, изнутри, моя жизнь всегда казалась повестью только еще развертывающейся, непредсказуемой. Да, я родился, и выделено было поле, участок земли, где ревностные руки будут собирать богатые плоды. И меня учили быть ревностным. Нищую, горничную... конечно... если б вы знали... деревни их детства... — нет, их не учили быть ревностными... Вот тебе земля, твой кусок земли... он был голый, черный, каменистый.

И весь мир раскрывается мне, как четырехмерная карта, — вся земля, люди, моменты времени — сегодня, вчера. И я вижу, что в каждый данный момент мир способен произвести строго определенное количество вещей, нужных людям: есть определенное количество земли, пригодной для возделывания, определенное число рабочих, определенный машинный парк, определенный набор понятий о том, как нужно что-то делать, как организовать тех, кто работает. И производительная способность каждого дня почему-то кажется очень маленькой. Она задана, ограничена. Каждая часть ее задана. И я вижу все дни, бывшие прежде, и в каждый из них работало определенное число рабочих, и было извлечено и пущено в дело определенное количество земных ресурсов, и произведен определенный небольшой набор продуктов. Маленький: на решетке бесконечных возможностей — конечное количество, распределяемое каждый день.

Из всего, что можно было бы сделать, чт у осуществляется в действительности?

Что сделать — определяют держатели денег: они предлагают деньги за то, что им нужно, каждый в соответствии с тем, сколько у него есть, — и каждая кучка денег определяет какую-то часть деятельности каждого дня; те, у кого мало, — определяют мало, те, у кого много, — определяют много, а те, у кого нет ничего, — не определяют ничего. А мир подчиняется приказам денег в меру своих производительных сил — и останавливается. Он сделал то, что мог. День окончен. Что-то было сделано. Если деньги предлагались за украшения, добывалось серебро и сгибалось в кольцо. Если деньги шли на оперу, шились костюмы и на невидимых нитях вешались люстры.

И есть один поразительный момент: каждый день, перед тем как день начался, перед тем как открылся рынок, перед тем как начались торги, есть момент замешательства: деньги молчат, они еще не заговорили. Они медлят с приказом, они изготовились, встали на старт. Каждому ясно, что сегодня всего выполнить нельзя: если произведут пищу для голодных детей, то не исполнят некоторых опер; если же будут даны представления, то меньше будет произведено пищи, и дети умрут.

Я подползаю к окну — на нем нет решетки — и высовываю голову. Я люблю плакать на теплом ветру. Но я ощущаю присутствие друга, он сидит у меня за спиной, на нарах, спокойно курит... но постойте... это охранник! И я, не в силах удержаться, говорю: слушайте, я же человек! Да, конечно, я хочу хорошо зарабатывать — а что такое, по-вашему, человек? Человек — беззащитное извивающееся создание, маленькое, мягкое создание, без раковины, без шкуры, даже без шерсти, — выброшен на землю, как глаз, вырванный из орбиты, как устрица без раковины, ползущая по земле. Мы сами должны создать себе раковины — да, ботинки, стулья, стены, полы — да, Господи Иисусе, маленькие утехи, маленькие утешения. Потому что, Господи, — вы же знаете, вы знаете, мы хотели счастья, мы хотели, чтобы наши жизни были совершенно прекрасными. Мы так долго предвкушали какую-то чудесную ночь в какой-то чудесной гостинице, чудесный завтрак на подносе, принесенный в номер, — мы предвкушали, повизгивая и вывесив языки, словно собачки на коврике, как мы порадуем любимых поцелуями в постели, как порадуем родителей своими замечательными успехами, как порадуем детей игрушками и сюрпризами. Но все было не так, все не совсем: гостиница, завтрак, постель, наши родители, дети, — и, да, поэтому мы нуждались в утешении, в утехе, нуждались во вкусной еде, в красивой одежде, мы нуждались в превосходной живописи, кинофильмах, пьесах, загородных поездках, изысканных винах. Утешений всегда не хватает, утех всегда не хватает.

Я делаю все, что могу. Я стараюсь быть милым. Я стараюсь быть веселым, занятным, забавным. Я рассказываю людям забавные истории. Каждое божье утро я шучу с вахтером, каждое божье утро — со сторожем на стоянке. При всякой возможности я пытаюсь быть занятным, чтобы помочь моим друзьям прожить этот день. Я пишу записки любимым людям, когда мне понравилась их статья или их выступление на сцене. Когда люди на вечеринке стали проходиться по адресу рекламных агентов, я увел разговор в сторону, потому что моей приятельнице Монике стало неловко — ее отец работает в рекламном агентстве.

На нарах никого — только книжка, но страницы книжки залиты кровью, и, когда я беру книжку, кровь пачкает мне одежду, льется на пол. Тут еще предисловие — все, что случилось до моего рождения. Мне досталось роскошное поле — как вышло, что мне досталось оно, а не черное, каменистое? А вышло так потому, что до моего рождения землю распределяли и кто-то подгребал эту землю под себя.

Не случайно, не по прихоти судьбы. Землю подгребали под себя воры, убийцы. Годами, веками, из ночи в ночь блестели ножи, взрезались глотки, снова и снова, и наконец-то в одно прекрасное рождественское утро мы просыпались, и наши гордые родители показывали нам великолепные сияющие, пропитанные кровью поля — теперь наши. Возделывай, говорили они, обрабатывай все, что возьмешь у земли, береги, охраняй, а потом прирежь своим детям соседний склон, соседнюю долину. Из любой выгоды извлекай новую. Расти, обрабатывай, сохраняй, стереги. Двигай дальше, покуда все не станет твоим. Остальные всегда отойдут, отступят, отдадут тебе то, что ты хочешь, или продадут, что ты хочешь, и за цену, какую ты хочешь. У них нет выбора, потому что они слабые и больные. Они стали "бедными".

А книга разворачивается — годы, века, — и наконец наступает день, когда наши родители говорят, что время распределения кончилось. Теперь у нас есть все, что нам надо, — наша позиция защищена со всех сторон. Теперь наконец все может застыть так, как есть. Насилие может прекратиться. Отныне — никакого грабежа, никаких убийств. С этого момента — вечная тишина, царствие закона.

Итак, у нас есть все, но осталась одна непреодолимая трудность, проклятье: мы не можем порвать наши связи с бедными.

Нам нужны бедные. Если бедные не соберут плоды с деревьев, не упрячут под землю экскременты, не выкупают наших младенцев после родов, мы не сможем существовать. Если бедные не сделают черную работу, на черную работу уйдет наша жизнь. Если бы бедные не были бедными, если бы бедным платили, как платят нам, нам не на что было бы купить яблоко, рубашку, отправиться в путешествие, провести ночь в гостинице соседнего города. Но ужас в том, что бедные растут повсюду, как мох, как трава. И нам не забыть времен, когда они владели землей. Нам не забыть гибели их семей, клятв о мести, звучавших в тех комнатах, обагренных кровью. И бедные не забывают. Они живут своей яростью. Они питаются яростью. Они хотят восстать и уничтожить нас, стереть нас с лица земли, как только представится случай.

И поэтому в нашем застывшем мире, в нашем безмолвном мире мы должны говорить с бедными. Говорить, слушать, объяснять, растолковывать. Они хотят, чтобы мир был устроен иначе. Они хотят перемен. И мы говорим: да, перемены. Но не насильственные. Без грабежей, бунтов, без мести. Выслушайте идею постепенных перемен. Перемен, которые помогут вам, но не повредят нам. Нравственность. Закон. Постепенные перемены. Мы объясняем: обоюдный договор — мы дадим вам вещи, много вещей, но взамен вы должны признать, что не имеете права забрать то, что хотите. Мы собираемся дать вам чудесные вещи. Сядьте, ждите, не хватайте. Самое главное — умейте терпеть, ждать. Мы дадим вам гораздо больше, чем вы получаете сейчас. Но прежде должно кое-что произойти — и вот этого надо дождаться. Во-первых, мы должны делать больше и выращивать больше, чтобы можно было больше дать. Иначе, если мы дадим вам больше, меньше останется нам. Когда мы сделаем больше и вырастим больше, у нас у всех будет больше — часть прибавки пойдет вам. А во-вторых, когда всего станет больше, мы должны позаботиться о том, чтобы торжествовала нравственность. Нравственность — ключ ко всему. В прошлом году мы изготовили больше и вырастили больше, но вам не дали больше. Вся прибавка осталась у нас. Это было неправильно. То же самое случилось в позапрошлом году и за год до того. Мы должны каждому внушить правила нравственности и в будущем году часть прибавки отдать вам.

Так что мы должны ждать. И пока мы ждем, мы должны быть осмотрительны. Потому что мы вас знаем. Мы знаем, что среди вас есть буйные, такие, кто не хочет ждать. Это разрушители. Их дети умирают, болеют — нет лекарств, нет еды, нечего надеть на ноги, нет крыши над головой, блюют на улицах. Это они опьянены яростью, жаждой мести. Мы знаем, что они задумали. Мы воображали это тысячу раз. Мы воображаем это каждый божий день. Этот треск в двери, расщепленного дерева, — они взламывают замок и вбегают с криками, выдергивают нас из-за семейного стола, поедают нашу еду, вытаскивают наших старых родителей из уборной, вытаскивают наших детей из постелек, потом выстраивают нас всех у стенки, бьют по лицу, пинают, поливают бранью, кричат на нас, наши родители в крови, наши дети в крови, а они забирают из шкафов детскую одежду, игрушки с полок, срывают со стен картины. Что они с нами сделают? — спрашиваем мы друг друга. Как? — они отдадут все дома людям, которые сейчас живут на улице?

Потом ужасные рассказы: разгром в магазинах, бессмысленные убийства, старику профессору дали новую должность — мыть вокзальную уборную.

Может ли такое быть — неужели такое возможно? Толпа преступников — или безработных олухов, людей, которые год назад голодали в трущобах? И они будут управлять теперь фабриками, школами — всем, целой страной, целым миром?

Мы должны предотвратить это, хотя буяны уже повсюду втолковывают бедным, что нынешний уклад — не Богом дан, что миром можно править в их интересах. Так что мы должны устроить специальную школу для бедных, преподать бедным кровавые уроки прошлого — рассказать о преступлениях, совершенных буянами и бунтарями, последователями Маркса. Вбить уроки истории им в головы. Истории, истории. Преступлений. Угнетения. Голодных годов. Катастроф. Внушить бедным, что они ни в коем случае не должны захватывать власть, потому что правление бедных всегда будет неумелым и всегда будет жестоким. Бедные кровожадны. Необразованны. Лишены талантов. Для их же блага — это не должно случиться. И пусть поймут, что мечтатели, идеалисты, те, которые говорят, что любят бедных, в конце концов станут оголтелыми убийцами и тот, кто утверждает, что может создать нечто лучшее, всегда создает в итоге худшее. Бедные должны усвоить эти важные уроки, главы истории. А если не усвоят, их всех надо вывести и расстрелять. Невнимательность и непонятливость недопустимы.

А там, где мы увидим, что эту школу избегают, мы должны предупредить бедных, что пострадают даже невиновные. Мы не можем примириться с насилием над символами закона, над солдатами и полицией. Мы должны убивать тех, кто совершает эти преступления. Но если насилие продолжается долго, то те, чьи старшие сестры и братья уже убиты, могут исполниться такого гнева, что перестанут бояться смерти. И чтобы управиться с такими людьми, нам, возможно, придется пойти дальше — вырез б ть у них языки, кромсать им лица, пытать у них на глазах их родителей, позволять солдатам насиловать их детей. Только так можно управиться с людьми, которые не страшатся смерти.

И поэтому мы внушим бедным, что да, да, мы дадим им вещи, но сколько дадим и когда, решать будем мы, потому что всего мы им не дадим.

И теперь уродливая книжка снова раскрыта на главе первой, и я снова читаю ее, и главу вторую — ее я тоже читаю снова, а пол по-прежнему усыпан водяными клопами. Они бегут, построившись в те же сложные фигуры, но я сметаю несколько штук в сторону и ложусь среди них. Я слушаю странный стук у меня в ушах.

И голос, похожий на звуки рвоты, медленно выходит у меня из глотки. Стоп!

Все были добры ко мне всю мою жизнь.

Нет. Послушай. Я хочу тебе кое-что сказать. Ты все понимал неправильно. Старуха, наклонявшаяся, чтобы дать тебе глазированную булку, тебя не любила. Тебя не любили так, как ты думал.

Я, конечно, по-прежнему расположен к себе — такому веселому, занятному, остроумному?..

Нет, я говорю тебе, что люди тебя ненавидят. Я пытаюсь объяснить тебе, за что тебя ненавидят люди.

С чего ты взял, что все они любят тебя? За что им, по-твоему, тебя любить? Что ты собой представляешь? Нет в тебе обаяния, нет никакого изящества, ничего плодотворного. Ты просто упорный, назойливый фанатик. Да, диверсант, который ползет всю ночь по болоту, — гораздо, гораздо меньше фанатик, чем ты. Посмотри на себя. Посмотри. Каждое утро деревянной походкой ты входишь к себе на кухню, идешь к буфету. Открываешь его, тянешься к кофе, к банке кофе, которую ожидаешь найти на полке. Она должна быть тут. И если однажды утром ее нет — о , истерика! — мир должен поплатиться за это? При одной мысли о неожиданном — о неожиданном лишении — ты начинаешь дергаться, паниковать, пыхтеть. О, эта одышка! Прислушайся к своему голосу в телефоне, прислушайся к своему тону, когда говоришь с одним из ближайших друзей и говоришь о своей жизни в таких выражениях: "Чтобы прожить, мне нужно...", "Сумма, необходимая мне...". Милый ты в эту минуту? Забавный ты в эту минуту? Загробным голосом: "Сумма, необходимая мне..." — торжественным, тихим, без аффектации — голос истерики, голос фанатика... ну да... конечно — это неспроста. Ты понимаешь свою ситуацию. Без жилья, без одежды, без денег ты будешь таким же, как они, ты будешь одним из них — ты будешь бездомным, ты будешь лишен удобств. И ты, конечно, понимаешь, что пойдешь на все. Ты ни перед чем не остановишься. Без денег твое лицо стало бы крысиной мордой, твои руки — лапами, когтистыми, проворными, готовыми царапаться и рвать.

Верно, иногда ты думаешь о страданиях бедняков... Лежа в постели, ты испытываешь сочувствие, ты шепчешь в подушку слова надежды: скоро у вас будут лекарства для детей, скоро — дом. Бессердечный мир, бессердечные люди вроде моего соседа Джина скоро уступят, и плавные перемены наступят, как наступили в Голландии в девятнадцатом веке.

Но в период ожидания, ожидания, этого бесконечного ожидания плавных перемен они подходят один за другим к твоей двери и стучат, кричат, просят у тебя помощи. А ты говоришь: уберите их от меня, я не переношу этого постоянного стука в дверь, этих людей, которые приходят со своими нелепыми историями, утверждают, что они мои сестры и братья, — круглый день, изо дня в день. И тогда всех этих людей убирают и заставляют жить там, где их дразнят, где с ними играют, где их наставляют и высмеивают, покуда некоторые из них не начинают нести околесицу и даже злобно смеяться, — и тогда их злобное поведение приводит в ужас абсолютно всех. И тогда каждого из этих злобных людей берут за плечи и пригибают, им бреют головы, их пристегивают к креслу и казнят, и тот, ради кого их казнят, — ты, ибо о тебе они говорили все эти долгие годы: "Ради наших детей мы должны это сделать — мы должны спалить этот город, этот амбар, эту больницу, эти леса, этих животных, этот рис, этот мед", — это все из-за тебя, из-за того, что ты любишь чистые белые простыни, музыку, танцовщиков и разговоры по телефону, из-за тебя этих людей с осиянными лицами сегодня ночью пытают и убивают.

Ты помнишь тот день в школе, когда ты играл с тремя другими детьми, и появилась учительница с четырьмя пирожными и все пирожные, все четыре пирожных, отдала мальчику Артуру, а тебе и другим двум друзьям — ничего? Ну, сперва все четверо были просто ошарашены. В первую минуту все четверо понимали, что это глупо, несправедливо. Но потом твоя подруга Элла попробовала пошутить, и Артур рассвирепел, он ударил Эллу, а потом ушел в угол и съел все пирожные. Наглядный пример того, как кто-то что-то урвал.

И твоя жизнь — еще один пример. Это жизнь человека, который кое-что урвал. И, однако, фанатизм твой таков, что ты даже мысли об этом не допускаешь.

Некоторые вещи нельзя ставить под сомнение. Кофе должен быть на полке, и никакая мысль не смеет посетить тебя, если она противоречит убеждению, что ты, да, ты, — порядочный человек. Так что давай думай — думай свободно — думай, о чем тебе угодно. Думай о своем здоровье, о других людях, о тех, кто плохо с тобой обошелся, думай о том, как плохо ты обращаешься с собой и к каким хитрым прибегаешь для этого средствам, думай о детях, страдающих неизлечимыми болезнями, — ты прочел их интервью в журнале. Думай обо всем, что свидетельствует о твоей порядочности и о порядочности тебе подобных — твоих друзей, твоих любимых, всех тех людей на земле, в разных странах, которые напоминают тебе тебя самого, — людей доброй воли, людей, не богатых деньгами, но искренне верящих в лучшую жизнь для всех. Думай о всех своих добрых поступках, думай о доброте всех твоих намерений. И если кое-какие из твоих дел обернулись скверно, думай о добрых побуждениях, двигавших тобой, — улыбнись, покачай головой, пойми, примирись. Не разговаривай с людьми, которые не считают тебя порядочным. Не читай книг, не читай статей, написанных теми, кто не считает тебя порядочным, не считает порядочным таких, как ты. Писания их основаны на ложных предпосылках. Они искажают, извращают картину. Твои мысли должны быть основаны на истине, на той истине, что ты порядочный человек.

Теперь: порядочный человек не может быть человеком, который что-то урвал. Порядочный человек не может иметь того, что ему не положено иметь. И такой взгляд на себя лежит в основе твоего мировоззрения. И так ты можешь смотреть на устройство мира, и, конечно, многие вещи в нем тебя безусловно огорчают — положение твоего друга Кнута, который любит Вагнера, но получает так мало в издательстве, что не может ходить на любимые оперы; или разные примеры людской бесчеловечности, которые ты каждый вечер видишь по телевизору, — вроде ужасного надсмотрщика на каучуковой плантации в южной Малайзии... — и тем не менее ты можешь сказать, что мир в основе своей устроен справедливо, поскольку ты получил в нем ту долю, которая тебе положена. А раз тебе положено иметь ту долю, которую ты действительно имеешь, и всем тебе подобным положено иметь ту долю, которую они имеют, значит, нет ничего неподобающего в том, что всем остальным достается оставшаяся доля. Раз ты имеешь то, чего заслуживаешь, значит, и они имеют то, чего заслуживают. Они имеют то, что им положено иметь. И ты должен признать это. Горничная отвратительна и невежественна — нет ничего неуместного в том, что ее жизнь — ад, ибо тебе она в самом деле представляется адским созданием. Всю свою жизнь она возится в грязи, занимается чем-то грязным и омерзительным. Можешь ли ты представить себе, что вечером она возвращается в сияющую чистотой квартиру? или идет потом на изумительный балет? Нет — невозможно. Так что ей делать тогда с прекрасной щеткой для волос, с прекрасным гребнем? Она не способна их оценить. На что ей душистые масла для ванной, красивые полотенца, красивое мыло? Можешь ли ты представить, что она подает своим детям красивый обед с мясистыми зелеными овощами, мясистыми красными помидорами? Нет — горничной положено вечером идти домой, к себе на улицу, к себе в коридор, так же, как тебе и твоим друзьям положено всю жизнь выбирать, какой из продуктов тебе больше по вкусу, и блюсти высокий исполнительский уровень в искусстве. Устройство мира в основе своей не является несправедливым, поэтому люди, желающие сохранить мир, в основе своей хорошие, а те, кто хочет разорвать его, крадущие на улицах, воры, разрушители, — в основе своей плохие. Ты — ввиду твоих умных замечаний о последних фильмах и твоих заботливых писем к двоюродной бабушке и ввиду того, как ты был расстроен, когда официант в ресторане принес к твоему столу живого омара, которого предстояло сварить тебе на обед, — ты должен быть отнесен к высшей и самой замечательной категории людей, тогда как последовательница Маркса Хуана, из какой-то отчаянной преданности любимому народу предоставляющая свое тело ножу палача, может быть отнесена только к низшей и самой недостойной категории, заслуживающей наказания смертью.

Я плыву в пространстве, держась за толстую железную перекладину: далеко внизу лес. От него пышет жаром. Ладони мои влажны и едва удерживают перекладину. Я боюсь упасть, но голос говорит: отпусти перекладину. Я держусь изо всех сил, но голос говорит: ты не убьешься. Ты плавно опустишься в прекрасный лес.

Я отпускаю, парю в пространстве. Я думаю: пора уже приземлиться, — но все еще падаю. Какие-то веточки почти нежно задевают мои щеки. Как медленно я падаю! Лес полон живого безмолвия.

Вновь пол ванной, трепетная свеча. Я поднимаю ее, я встаю, я выхожу из ванной.

Я снова в спальне, прислоняюсь к стене. Поставил свечу на столик. В открытое окно дохнул ветерок. Я придвигаю к окну кресло и сажусь.

Внизу на улице закричал человек. Земля отдыхает. Заключенный на электрическом стуле помучился и умер, и охранники отнесли его в могилу. А вон... там... на черной стене неба — просинь, предвестие зари.

Это самый прохладный час суток. Я выглядываю в окно и под прохладным ветерком вспоминаю, что был когда-то ребенком в прекрасном городе, дышавшем надеждой. И я ощущаю радость — ветерок холодит — и мне хочется свалить с себя ношу лжи, вранья — свалить прямо тут, на пол. Каково это будет? Хоть на миг, пока в окно задувает ветер, сбросить ее — пока я гол, свободен, бесшабашно счастлив и не желаю никаких ограничений.

Господи Боже, каждый мускул моего тела болит от труда постоянной лжи. Я искривлен, искорежен — лгу с той минуты, как вылез утром из постели, и до минуты, когда снова лягу в постель, и даже во сне, мне кажется, лгу. И не могу остановиться, потому что истина повсюду, перед глазами...

Послушай меня, мой дорогой. Позволь себе не лгать, позволь хоть сегодня, только на одну ночь, а завтра мы снова вернемся ко лжи как ни в чем не бывало. Сделаем вид, что этого не было. Забудем, что это было.

Ну же, давай. Давай. Скажи.

Моя жизнь — это жизнь непоправимо испорченного человека. Ей нет оправдания. Я все время думаю, что оправдание есть, что я записал его где-то, на каком-то клочке бумаги, только не могу вспомнить, что на этом клочке, но он лежит в каком-то ящике стола, в какой-то комнате, где я когда-то жил. На самом деле я никогда не найду этот клочок, потому что его нет, он не существует.

Нет клочка бумаги с оправданием того, сколько имею я и сколько имеет нищая. Поставить нас рядом голыми — и нет разницы между ней и мной, кроме разницы в везении. Я не заслуживаю того, чтобы быть в тысячу раз богаче нищей. Я не заслуживаю того, чтобы быть богаче на две корки хлеба.

И потом вот что: мои друзья и я никогда не были благожелательными и добрыми. Садисты не были жалостливыми учеными, радеющими о человечестве. Сжигание посевов, сжигание детей не было неловкими попытками творить добро. Трусы, сидящие в аудиториях или залах заседаний и осуждающие преступления революционеров, меньше достойны восхищения, чем крестьяне и монашки, которые кинулись навстречу ветру, которые молча бросились навстречу смерти. Те, кого я убивал в разных странах, были не худшими людьми; нет, они были лучшими.

Ничто не меняется в жизни бедных. Нет перемен. Не происходят плавные перемены. И не произойдут. Мы только говорим о них.

Мое сочувствие к бедным не изменяет жизни бедных. Моя пламенная вера в постепенные перемены не изменяет жизни бедных. Родители, внушающие детям правильные понятия, не изменяют жизни бедных. Художники, создающие произведения искусства, которые учат состраданию и правильным понятиям, не изменяют жизни бедных. Граждане, воспринявшие у художников и у родителей правильные понятия, преисполнившиеся сочувствия к бедным и голосующие за честных политиков, которые искренне веруют в постепенные перемены, — эти граждане не изменяют жизни бедных, потому что ее не изменяют честные политики, искренне верующие в постепенные перемены.

Положение горничной — не временное. Ей вынесен пожизненный приговор: убираться у меня и спать в грязи. Не убираться у меня сегодня, чтобы я убирался у нее завтра или убирался у нее в будущем году. Не спать в грязи сегодня, чтобы я спал в грязи завтра или через неделю. Нет. Приговор гласит, что прислуживать будет она, и завтра прислуживать будет она, и будет прислуживать и прислуживать до самой своей смерти.

Но что самое странное: если условия существования горничной были установлены при ее рождении — условия моего существования не были установлены при моем.

Я говорю: не моя вина, что я родился с лучшими перспективами в жизни, чем горничная. Не моя вина, что у меня есть немного денег, а у нее нет.

Но деньги у меня "есть" не так, как у меня "есть" две ноги. Деньги — не часть меня, и наличность не присуща мне так, как цвет моей кожи или национальность. Они достались мне после ряда событий, но посвятить свою жизнь защите того, что мне досталось, — это вовсе не предначертано судьбой. Держать деньги — это просто выбор, который я сделал, выбор, который я делаю ежедневно. Я с легкостью мог бы положить конец всему этому утонченному спектаклю. Если люди голодают — дай им пищу. Если у тебя больше, чем у других, — делись с ними, покуда у тебя не станет столько же, сколько у них. Живи просто. Откажись от всего. Сам стань бедным.

Я всегда любил людей, которые радуются хорошему обеду, людей, которые с нетерпением ждут хорошего концерта. Конечно, любил. Все мои знакомые были из этих людей, я сам один из них. Я всегда полагал, что гораздо лучше любить людей счастливых. Странно то, что счастливыми могли бы быть все. Все, что я имею, досталось мне в нелегкой борьбе. Но борьба эта была — против других. В сущности, я боролся против тех, кто беден, и, конечно, с точки зрения тех, кто беден, я такой же, как мой сосед Джин. Я совершенно такой же — и я не на их стороне.

И это тоже мой выбор. Я мог бы перейти на другую сторону. Я мог бы сражаться на другой стороне. Жизнь предателя? Предать своих? Пойти навстречу опасностям? Очень трудный, но возможный выбор. Если бы я мог принять тяготы, принять неудобства... почему — не страдания, не тюрьму?.. И даже...

Я задуваю свечу и плыву по комнате к моей красивой постели. На подушке, под покрывалом я вплываю в сон. На будущей неделе — дома.

Что будет дома? Моя постель. Мой столик. А на столике — что? На столике — что? — кровь — смерть — осколок кости — клочок... кусок — человеческого мозга — отрубленная ладонь. Пускай все грязное, все отвратительное ляжет у моей постели, там, где прежде были моя лампа и часы, книги, письма, подарки на день рождения и оставшиеся от подарков яркие ленточки. Прости меня. Прости меня. Я знаю, ты меня простишь. Я все еще падаю.